

Восьмая речь. Что такое народ, в высшем значении этого слова, и что такое любовь к отечеству

Четыре наши последние речи отвечали на вопрос: что такое немец в противоположность другим народам германского происхождения? Доказательство, которое все это должно дать для совокупности нашего изыскания, будет закончено, если мы прибавим к этому еще и исследование вопроса: что такое народ? А этот последний вопрос тождествен другому, и одновременно помогает ответить на этот другой вопрос, который часто задают и на который дают весьма различные ответы, – на вопрос: что такое любовь к отечеству, или, если выразиться более правильно, что такое любовь индивида к своей нации?

Если только до сих пор в ходе нашего изыскания мы рассуждали верно, то при этом нам должно в то же время стать совершенно ясно, что только немец, изначально и не умерший в произвольном уставе человек, поистине имеет народ и вправе рассчитывать на свой народ, и что только он способен по-настоящему и разумно любить свою нацию. Мы проложим себе путь к решению поставленной задачи, сделав следующее замечание, которое, как поначалу кажется, совершенно не связано со сказанным выше.

Религия, как мы заметили это уже в нашей третьей речи, может вознести человека решительно над всяким временем и всей современной и чувственной жизнью, несколько не умаляя этим справедливости, нравственности и святости охваченной этой верою жизни. Даже будучи твердо убеждены, что все наши труды на этой земле не оставят даже малого следа и не принесут ни малейшего плода, и даже, что люди впоследствии извратят понятие о божественном и сделают его орудием злодеяний и еще более глубокой нравственной порчи, – мы можем все-таки усердно трудиться и далее, единственно для того, чтобы поддержать явившуюся в нас божественную жизнь, и в отношении к высшему порядку вещей в будущем мире, в котором ничто совершившееся в Боге не погибнет. Так, например, апостолов, и вообще первых христиан, их вера в небесное уже при жизни совершенно возносила над землю, и от земных дел, – государства, земного отечества и нации, – они отреклись настолько, что уже более не удостоивали внимания эти дела. Между тем, как бы возможно, и как бы легко для веры это ни было, и как бы ни должны были мы радостно смиряться с тем, что у нас нет более земного отечества и что на земле мы изгнанники и слуги, коль скоро уж такова неизменная воля Божия: но все же это не естественное

состояние и правило хода вещей в этом мире, но редкое исключение из правила. К тому же весьма превратно использует религию тот, – а именно так очень часто использовали, в частности, и христианство, – для кого она с самого же начала и безотносительно к обстоятельствам ставит себе целью рекомендовать нам это удаление от дел государства и нации как подлинное религиозное умонастроение. В подобном положении, если оно действительно и истинно, а не вызвано только религиозной мечтательностью, временная жизнь утрачивает всю свою самобытность и становится простым преддверием к подлинной жизни и трудным испытанием, которое мы выносим лишь из послушания и преданности воле Божией; а тогда верно будет сказать, что, как это представляли многие философы, бессмертные духи лишь в наказание облечены в земные тела, как в темницы³¹. В правильном же порядке вещей земная жизнь сама должна быть подлинно жизнью, которой мы можем радоваться, и которой мы можем благодарно наслаждаться, пусть и в ожидании некоторой высшей жизни; и хотя верно, что религия есть также утешение для несправедливо угнетенного раба, однако религиозное чувство заключается прежде всего в том, чтобы противиться рабству и, если только мы в силах этому помешать, не дать унижить религию до простого утешения для пленных рабов. Тирану весьма приличествует проповедовать религиозную преданность и указывать на небо тем, для кого на земле он не желает оставить и малого места; но нам, всем прочим, не стоит так торопиться усвоить себе восхваляемое им воззрение на религию, и мы должны, если только можем, помешать ему превратить землю в ад, чтобы пробудить в людях тем более страстную тоску по небесам.

Естественное влечение человека, от которого он вправе отказываться только в случае подлинно крайней необходимости, заключается в том, чтобы найти небо уже на земле и вплетать вечное и постоянное в повседневные земные дела; чтобы в самом временном насаждать и воспитывать непреходящее, – не только неким непостижимым образом, так что с вечностью нас связывает единственно лишь пропасть, непроницаемая для глаз смертного, – но так, чтобы это было зримо для глаз самих этих смертных.

Начнем с этого общепонятного примера: Какой благородно мыслящий человек не хочет и не желает снова повторить в исправленном виде свою собственную жизнь в своих детях, и дальше, в детях этих детей, и, облагородившись и усовершенствовавшись в жизни детей, жить на этой земле долго после того, как он уже умрет; вырвать из лап смерти тот дух, тот ум и нрав, которыми он, быть может, при жизни был страшен для превратности и порчи, утверждая праведных, вдохновляя ленивых, подымая подавленных и побежденных, и вложить этот дух и нрав, как лучшее свое завещание, в души наследников, чтобы и они передали его некогда, столь же приукрашенным и приумноженным, своим потомкам? Какой благородно мыслящий человек не желает мыслью или делом посеять малое зерно для бесконечного и беспрестанного усовершенствования рода человеческого, бросить во время нечто новое и прежде никогда небывалое, что останется во времени и станет неиссякающим источником новых творений; воздать за то, что ему дано было место на этой земле, и предоставлено недолгое время жизни, создав нечто вечное и здесь, на земле, так что он, этот индивид, пусть и не будет упомянут в истории (ибо жажда посмертной славы есть презренное тщеславие), однако же в своем сознании и в своей вере оставит по себе очевидные всем памятники того, что и он здесь жил? Какой благородно мыслящий человек, говорю я, этого не желает; но ведь мир наш следует рассматривать и устраивать только соответственно потребности мыслящих подобным образом, которая есть правило для того,

какими должны быть все люди, и единственно лишь ради таких людей и существует мир. Они – соль мира, а мыслящие иначе, будучи сами лишь частью преходящего мира, до тех пор, пока они мыслят так, также существуют только ради этих первых, и должны считаться с ними, до тех пор пока не станут такими, как они.

Что же могло бы стать залогом правды этого призыва и истины этой веры благородного мужа в вечность и непреходящую ценность его создания? Очевидно, лишь такой порядок вещей, который он был бы способен признать за вечный и могущий воспринять в себя вечное. А такой порядок вещей есть, пусть непостижимая ни в каком понятии, но однако подлинно существующая, особенная духовная природа человеческого окружения, из которого явился на свет он сам со всеми своими мыслями и деяниями и с верой в вечность этих мыслей и деяний, – народ, из которого он происходит, и в среде которого он был образован и возрос и стал тем, что он есть сейчас. Ибо, хотя несомненно верно, что его дело, если только он по праву притязает на вечность этого дела, отнюдь не есть простой результат закона духовной природы его нации, и не растворяется всецело в этом результате, но есть нечто большее, чем только это, и постольку проистекает непосредственно из изначальной и божественной жизни; однако так же верно и то, что это большее, как только оно впервые облеклось в формы зримого явления, подчинилось действию этого особенного закона духовной природы и образовало свое чувственное выражение лишь согласно этому закону. Этому же закону природы подпадут, и в нем примут чувственную форму, и все другие откровения божественного в этом народе, пока этот народ существует. Но оттого, что и он, этот индивид, существовал и действовал так, сам этот закон получает дальнейшее определение, и деятельность его стала постоянным элементом этого закона. И правилу этой деятельности должно будет подчиниться и продолжить ее собою все последующее. А потому он вполне уверен в том, что достигнутая им образованность останется в его народе, до тех пор, пока останется на земле сам этот народ, и будет неизменным определяющим основанием всего дальнейшего развития его народа.

В высшем значении слова, понимаемом с точки зрения духовного мира, это и есть народ: совокупность постоянно живущих в обществе друг с другом и непрерывно рождающих себя из себя самих, естественно и духовно, людей, которая вся подчиняется известному особенному закону развития божественного из нее. Именно общность этого особенного закона соединяет это множество людей в вечном, а потому также и во временном мире в некое естественное и проникнутое самим собою целое. Сам этот закон, по его содержанию, в целом, правда, можно постичь, как и мы постигли его на примере немцев как изначального народа; можно даже, рассматривая отдельные явления жизни подобного народа, понять его еще обстоятельнее в некоторых его дальнейших определениях; но никакой человек, который ведь сам всегда бывает подвержен неосознанному им самим влиянию этого закона, не сможет вполне проникнуть в него понятием, хотя в общем и можно вполне ясно понять, что подобный закон существует. Этот закон есть большее образуемости (*ein Mehr der Bildlichkeit*), которое в явлении непосредственно сплавлено с большим необразной изначальности (*Mehr der unbildlichen Ursprünglichkeit*), а потому (в явлении же) то и другое уже более неразделимо. Этот закон всецело определяет собою и приводит к полноте завершенности то, что называли прежде национальным характером народа; этот закон развития изначального и божественного. Из этого последнего ясно, что

люди, которые, как мы описали прежде подражателей за границе, вовсе не верят в изначальное и в его непрерывное развитие, а верят только в вечное круговращение кажущейся жизни, и которые по вере своей становятся тем, во что верят, в высшем смысле слова вовсе не суть народ, и что на самом деле они, собственно говоря, и не существуют, и тем более не способны иметь национального характера.

Вера благородного человека в вечную жизнь его действительности и на этой земле основывается, следовательно, на его надежде на вечную жизнь народа, из среды которого он сам развился, и своеобразия этого народа согласно упомянутому нами скрытому закону, без всякого вмешательства и порчи от чего-либо чуждого и не принадлежащего к целокупности этого законодательства. Это своеобразие есть то вечное, которому он вверяет свою собственную вечность и вечность своего труда, – тот вечный порядок вещей, в который он влагает вечное от себя; его бессмертия он должен желать, ибо только это бессмертие есть для него средство избавления, простирающее недолгий срок его жизни на земле до бессмертия жизни его на земле. Его вера и его стремление насадить нечто непреходящее, его понятие, в котором он постигает свою жизнь как вечную жизнь, – вот та связующая нить, которая теснейшим образом сопрягает с ним самим сначала его нацию, а затем, через посредство нации – и весь род человеческий, и которая внедряет в его распаханное сердце потребности всех этих людей до конца времен. Такова его любовь к своему народу, – прежде всего она уважает, доверяет, радуется своему народу, находит для себя честью происходить из него. В нем явилось в мире божественное, и изначальное удостоило сделать его своим покровом и средством своего непосредственного воздействия на мир; поэтому и далее из него будет проявляться божественное. Далее, его любовь деятельна, действительна, жертвует собою для народа. Ведь жизнь, просто как жизнь, как продолжение изменчивого существования, и так уже никогда не имела для него ценности, он желал ее лишь как источника чего-то долговечного; но эту долговечность ему обещает единственно лишь продолжение самостоятельного бытия его нации. Для спасения этой ее долговечности он должен даже желать себе смерти, чтобы только жила его нация и чтобы он жил в ней той единственной жизнью, которой всегда и хотел для себя.

Вот так. Любовь, которая подлинно есть любовь, а не просто преходящее вожделение чувства, никогда не задерживается на бренном, она пробуждается, возгорается и покоится только в вечном. Даже себя самого человек не способен любить, если только он не постигнет, что он вечен; иначе он не способен будет даже ни уважать, ни одобрять себя самого. Еще того менее может он любить что-нибудь вне его, иначе как восприняв его в вечность своей веры и своей души и соединив его с этой вечностью. Кто не усматривает, прежде всего, что сам он вечен, в том вообще нет любви, и он не может любить отечества, ибо отечества для него не существует. Кто постигает вечность своей незримой жизни, но не усматривает таким же точно образом и вечности своей зримой жизни, для того, быть может, и есть небо, а на небе – отечество; но здесь, на земле, у него нет отечества, ибо и его можно познать только под образом вечности, и притом зримой и наглядной чувствам вечности, и потому он также не способен любить свое отечество. Если такому человеку не досталось в наследство земное отечество, то его следует пожалеть; но тот, кто получил в наследство от предков отечество на земле, и в чьей душе земля и небо, незримое и зримое совершенно проникли друг друга и тем самым только впервые создают подлинное и доброе небо, тот будет сражаться до последней капли крови за то, чтобы он мог и сам передать в целостности и

сохранности это многоценное достояние в наследство будущему времени.

Так и было с давних пор. пусть в давние времена это и не было высказано с такой ясностью и с такой всеобщностью. Что воодушевляло благородных людей среди древних римлян, умонастроение и образ мысли которых еще и живет и дышит рядом с нами в их памятниках, трудиться и жертвовать собою, терпеть и выносить тяготы ради отечества? О том часто и внятно говорят они сами. Это – их твердая вера в вечное бытие их Рима и непоколебимая уверенность, что в этой вечности и сами они будут вечно жить с ним вместе в потоке времен. Поскольку эта вера была основательна, и сами они, если бы только были вполне ясны сами себе, усвоили бы себе эту именно веру, – эта вера их и не обманула. До наших дней живет среди нас то, что было действительно вечного в этом вечном Риме, а с ним и сами Римляне, и это будет жить в своих последствиях – до конца времен.

Народ и отечество в этом значении, как носитель и залог земной вечности, и как то, что только и может быть вечно здесь, на земле, далеко превосходит пределы государства, в обычном смысле этого слова, – общественного порядка, каким его постигают в простом ясном понятии и создают, а затем сохраняют соответственно указаниям этого понятия. Это последнее желает известного права, гражданского мира, желает, чтобы каждый своими усердными трудами мог найти себе пропитание и влачить свое чувственное существование до тех пор, пока это будет угодно Богу. Все это суть лишь средства, условия и подпорки для того, чего поистине желает любовь к отечеству, расцветания вечного и божественного в мире, все чище, совершеннее и вернее, в бесконечном движении вперед. Именно поэтому эта любовь к отечеству должна править и самим государством, как безусловно высшее, последнее и независимое ведомство, прежде всего, ограничивая его в выборе средств для его ближайшей цели – гражданского мира. Разумеется, для достижения этой цели естественную свободу индивида приходится в некоторых отношениях ограничивать, и когда бы мы даже не имели в виду в них ничего иного, кроме этого, то поступили бы неплохо, если бы ограничили эту свободу сколь возможно более тесными пределами, подвели все ее побуждения под единообразное правило и держали ее под постоянным надзором. Предположим даже, что в такой строгости не было бы прямой надобности, но по крайней мере она не может оказаться вредной для этой нашей единственной цели. Только высшее воззрение на человеческий род и отдельные народы в нем расширяет горизонт этого ограниченного расчета. Свобода, даже в движениях внешней жизни, есть та почва, на которой прорастает высшая образованность. Законодательство, имеющее в виду содействие этой последней, предоставит свободе возможно более обширную сферу, даже рискуя тем, что от этого в обществе будет меньше единообразного покоя и тишины и что правительственные дела станут от того несколько труднее и обременительнее.

Поясним это на примере. Мы слышали, как нациям в лицо говорили, что им не надобно так много свободы, как какой-нибудь другой нации. Эти речи могут заключать в себе даже интонацию пощады и послабления, если, положим, хотели сказать собственно то, что нация не могла бы даже и вынести столь много свободы, и только значительная мера строгости правителей может помешать тому, чтобы их подданные сами до конца истребили друг друга. Но если эти слова понимать так, как они были сказаны, то они истинны лишь при том условии, что такая нация решительно не способна жить изначальной жизнью и питать влечение к таковой. Такой нации, – если бы вообще возможна была подобная нация, в

которой ведь тоже немалое число благородных душ составляли бы исключение из общего правила, – такой нации и в самом деле свобода была бы вовсе не нужна, ибо свобода существует лишь для высших целей, которые превосходят само государство, – такая нация нуждается только в укрощении и дрессировке, с тем чтобы индивиды могли мирно уживаться друг с другом, и чтобы целое можно было обратить в удобное средство для произвольно полагаемых целей, находящихся вне его. Мы можем оставить без ответа вопрос о том, можно ли справедливо сказать подобное хоть какой-нибудь нации. Ясно, во всяком случае, что изначальному народу свобода необходима, что она служит ему залогом его сохранения в качестве изначального, и что в дальнейшем своем бытии он может без малейшей для себя опасности вынести все возрастающую меру этой свободы. И это – первое, в отношении чего любовь к отечеству должна править самим государством.

Во-вторых, она должна править государством в том отношении, что должна ставить перед ним цель более высокую, чем обычно полагаемая ему цель сохранения гражданского мира, собственности, личной свободы, жизни и благосостояния всех. Только для этой высшей цели, и ни в каких иных видах, государство собирает у себя вооруженную силу. Если встает вопрос о применении этой вооруженной силы, если оказывается необходимо поставить на карту все цели государства, заключенные в простом понятии собственности, личной свободы, жизни и благосостояния, и даже продолжение бытия самого государства, и, не имея при этом ясного рассудочного понятия о том, будет ли наверняка осуществлено в действительности наше намерение, – а знать это в подобных делах мы и никогда не можем, – принять изначальное решение, ответ за которое мы дадим только Богу, – тогда только у кормила государственного правления живет подлинно изначальная и первая жизнь, и только в этот час вступают в силу подлинные суверенные права правительства, подобно самому Богу рискнуть в этом отношении низшей жизнью людей ради высшей жизни. В сохранении унаследованного от предков устройства, законов, гражданского благополучия вовсе нет настоящей и подлинной жизни, нет изначального решения. Все это создано обстоятельствами и положением, законодателями, которые, быть может, давно уже умерли; последующие эпохи доверчиво следуют дальше проторенным путем, и потому в самом деле живут не собственной публичной жизнью, но лишь повторяют жизнь, когда-то бывшую. В такие времена нет надобности в действительном правительстве. Но если этому равномерному ходу дел угрожает опасность, и требуется принять решение о новых, прежде никогда в этом виде не бывалых, случаях жизни: тогда нужна жизнь, живая из самой себя. Какой же дух имеет в таких случаях право встать у кормила государства, сможет решать силой собственной убежденности и уверенности, не предаваясь беспокойным колебаниям, и имеет неоспоримое право повелительно указывать всякому, к кому он ни обратится, – хочет ли он сам того или нет, – чтобы он подверг опасности все, вплоть до самой жизни своей, и принуждать того, кто станет ему противиться? Отнюдь не дух спокойной гражданской любви к конституции и законам, но всепоглощающее пламя высшей любви к отечеству, которая объемлет нацию как покров вечного, коему благородный человек с радостью пожертвует собою, а неблагородный, существующий лишь ради этого первого, именно что должен пожертвовать собою. Не гражданская любовь к конституции имеет это право; да эта любовь и не сможет этого сделать, если останется в здравом уме. Как бы там ни случилось, но поскольку правитель исполняет свое дело не задаром, то правитель для них всегда найдется. Пусть даже новый правитель пожелает учредить рабство (а в чем же и состоит рабство, если не в пренебрежении и подавлении самобытности изначального народа,

которой для разумения этого правителя вовсе не существует?), – пусть даже он пожелает учредить рабство. Но поскольку из жизни рабов, их множества, и даже их благосостояния можно извлечь выгоду, то, если он хоть сколько-нибудь умеет считать, рабство при нем будет вполне сносным. Жизнь и пропитание, по крайней мере, его рабы всегда найдут для себя. За что же им в таком случае сражаться? И для тех, и для других покой превыше всего. Продолжая борьбу, они этот покой только нарушат. Поэтому они используют все средства для того, чтобы только эта борьба поскорее закончилась, они покорятся, они пойдут на уступки, да почему же им и не уступить? Ведь им никогда и прежде не нужно было ничего больше, и они никогда не надеялись получить от жизни что-то большее, чем продолжение привычного существования при хоть несколько терпимых условиях. Обетование жизни здесь на земле, продолжающейся, когда их жизнь на земле уже окончится, – только это может вдохновить их на смерть за свое отечество.

Так это и было до сих пор. Там, где действительно правили, там, где выдерживали суровые битвы, где добивались победы, одолевая сильное сопротивление, там правило, сражалось и побеждало это обетование вечной жизни. Веря в это обетование, сражались с врагами, упомянутые в этих речах несколько ранее, немецкие протестанты. Разве они не знали, что и со старой верой можно было править народами и содержать их в правовом порядке, и что и с этой верой можно было неплохо прокормиться в жизни? Почему же тогда их князья решились на вооруженное сопротивление, и почему народы с воодушевлением оказали это сопротивление? Небо и вечное блаженство – вот за что они с охотой проливали свою кровь. – Но какая же земная власть могла бы вторгнуться во внутреннюю святость их души и истребить в ней веру, которая отныне воссияла им, и на которой одной основывалась вся их надежда на будущее блаженство? Стало быть, они сражались тогда и не за собственное свое блаженство; в нем они были уже вполне уверены; но их заботило блаженство их детей, их еще не родившихся внуков и всего их еще не родившегося потомства, – все они также должны были быть воспитаны в том же самом учении, которое открылось им как единоспасающая истина, они также должны были стать причастными спасению, которое явилось теперь их отцам; только этой одной надежде их угрожал их нынешний враг; за нее, за такой порядок вещей, который и долго после их смерти будет цвести над их могилами, они столь радостно проливали в бою свою кровь. Допустим, что им самим все это не было вполне ясно, что они ошибались в выборе слов для обозначения того самого благородного, что было в них, и устами своими согрешали против собственной своей души. Охотно признаем, что их символ веры не был единственным и исключительным средством для того, чтобы стать причастным небесному блаженству за гробом. Однако навеки останется истинным то, что благодаря их жертвам в жизни всех последующих времен стало больше небесного блаженства по эту сторону гроба, что стали смелее и радостнее взирать на небо с земли, а порывы духа стали свободнее, и что потомки их противников, так же точно, как и мы сами, их потомки, доныне пользуются плодами их трудов.

В этой вере и наши древнейшие общие предки, коренной народ нового образования, немцы, которых римляне называли германцами, мужественно противостояли надвигавшемуся на них мировому господству Рима. Разве же они не видели собственными глазами, насколько пышнее цветет жизнь в римских провинциях, как утонченны там наслаждения, и к тому же, как изобилуют они законами, судами, розгами и плахами палачей? Разве римляне были не довольно готовы поделиться и с ними всеми этими благами просвещения? Разве не видели

они на примере многих и многих своих же отечественных князей, которые только позволяли убедить себя в том, что война с этими благодетелями человечества есть не что иное, как сущий мятеж, доказательства хваленого милосердия римлян, украшавших этих уступчивых князей королевскими титулами, доверявших им должности полководцев в римском войске, а если соотечественники изгоняли их, предоставлявших им убежище и содержание в своих городах-колониях? Разве они не умели понять преимуществ римской образованности, например, в том, что касается лучшего устройства римского войска, в котором и сам Арминий не отказывался учиться воинскому ремеслу? Мы не можем упрекнуть их в том, чтобы они не знали или не замечали всего этого. За что же тогда сражались они, много поколений подряд, в кровавой войне, возобновлявшейся всякий раз с прежней силой и упорством? У одного римского писателя один из их вождей говорит об этом так: «разве же им остается что-то еще, кроме как отстаивать свою свободу или умереть прежде, чем они сделаются рабами?»³². Свобода была для них в том, чтобы оставаться именно немцами, чтобы по-прежнему самостоятельно и изначально решать свои дела в собственном своем духе, и в своем же собственном духе идти вперед в своем дальнейшем образовании, и чтобы распространить эту самостоятельность также и на потомков. А все эти блага просвещения, какие предлагали им римляне, назывались у них рабством, потому что приняв их, они вынуждены бы были стать чем-то иным, нежели немцами, стать наполовину римлянами. А само собою разумеется, полагали они, любой человек лучше умрет, чем станет чем-то подобным, и истинный немец может хотеть жить лишь для того, чтобы именно быть и оставаться немцем и такими же немцами воспитывать своих детей.

Они не все умерли; они не узнали рабства; они оставили свободу в наследство своим детям. Их упорному сопротивлению новый мир обязан тем, что он существует теперь таким, каков он ныне. Если бы римлянам удалось поработить и их, и искоренить их как нацию, как римляне и делали повсюду, – все дальнейшее развитие человечества пошло бы в ином, и навряд ли более благоприятном, направлении. Им обязаны мы, ближайшие наследники их земли, их языка и умонастроения, тем, что мы все еще немцы, что еще несет нас поток изначальной и самостоятельной жизни, им обязаны мы всем, чем были мы как нация с тех самых пор, им, – если только мы не вовсе погибли как народ и не иссякла в нас последняя капля их крови, – им мы будем обязаны всем, чем мы еще будем впоследствии. Им обязаны своим бытием даже и прочие племена, ставшие для нас ныне иностранцами, но по ним – наши братья; когда наши предки победили Рим, на свете еще не было ни одного из этих народов; победив его, они завоевали тогда и для них саму возможность их будущего возникновения.

Эти люди, и все, кто мыслит подобно им, победили потому, что их воодушевляло вечное, а это воодушевление всегда и необходимо одерживает победу над тем, кто не воодушевлен. Не мощью рук, и не совершенством оружия, но только силою духа завоевываются победы. Кто, жертвуя собою, полагает себе при этом ограниченную цель, и может рискнуть собою лишь до известной точки, тот прекратит сопротивление тут же, как только опасность для него достигнет этой точки, которой он никак не может оставить или обойтись без нее. Кто же не полагает себе вовсе никакой цели, но просто рискует всем, и тем высшим, что можно потерять здесь, на земле, – самой своей жизнью, – тот никогда не прекратит сопротивления и, без сомнения, победит, если только у его противника цель более ограниченная. Народ, который, как наши древнейшие предки, способен, пусть даже только в своих высших

представителях и вождях, пристально всматриваться в облик из мира духов, – самостоятельность, – и возгореться любовью к нему, подобно нашим древнейшим предкам, наверняка одержит победу над народом, который, как римское войско, просто используют как орудие чужого господства и порабощения самостоятельных народов; ибо в этой борьбе первый может все потерять, тогда как последний всего лишь может кое-что приобрести. А такой образ мыслей, который смотрит на войну как на некую лотерею, и который еще прежде чем приступит к игре, точно знает, какой величины сумму намерен поставить на кон, – будет побежден любой причудой и фантазией. Представьте себе, к примеру, Магомета, – не действительного Магомета истории, судить о котором я, сразу скажу, не возьмусь, а Магомета одного известного французского поэта³³, – который усвоил себе непоколебимое убеждение в том, будто он – одна из тех неординарных натур, которые призваны вести за собой чернь и простонародье, и которому, соответственно этой первой его предпосылке, все его, как бы скудны и ограничены они ни были в действительности, необходимо должны представляться великими и возвышенными идеями, несущими с собою счастье народов, а все, что этим идеям противится – темной чернью, врагами их собственного блага, людьми злонамеренными и ненавистными; и который, чтобы оправдать теперь в своих собственных глазах это свое самомнение, будто бы некое божественное призвание, и всецело погрузившись в эту мысль всей жизнью своей, непременно поставит на карту все, что имеет, и не успокоится до тех пор, пока не растопчет совершенно всех, кто не желает быть о нем столь же высокого мнения, как и он сам, и пока все его окружающее не превратится для него в простое отражение его собственной веры в свое божественное предназначение; не скажу, что станет с ним, если против него на турнирную дорожку действительно выйдет духовный лик, истинный и ясный в самом себе, – но у этих-то азартных игроков он выиграет схватку наверняка: потому что он ставит против них все, они же ставят не все; их не влечет никакой дух, его же увлекает дух, пусть даже это мечтательный дух его могучего и сильного самомнения.

Из всего этого следует, что государство, как простая власть (Regiment) над человеческой жизнью, движущейся обычным мирным путем, не есть что-то первое и для себя самого существующее, но что оно есть лишь средство для высшей цели – вечно равномерно продолжающегося образования чисто-человеческого в этой нации; что оно есть только лик и любовь этого вечно совершенствующегося образования, которой любви всегда, даже и в спокойные времена, должен принадлежать верховный надзор над делами государственного управления, и которая там, где самостоятельности народа грозит опасность, одна только и может ее спасти. У немцев, в среде которых как изначального народа эта любовь к отечеству была возможна и, как мы наверное и твердо знаем, до сих пор также и действительна, она могла до сих пор с высокой степенью уверенности полагаться на непременное исполнение этого самого важного для них дела. Государство и нация были у них даже, как это бывало разве только у греков в древние времена, отделены друг от друга, и каждое представало само по себе – первое в особых немецких королевствах и княжествах, а последняя зримым образом в имперском союзе, незримо же и повсюду в своих следствиях очевидно – во множестве привычек и учреждений. Повсюду, где только звучала немецкая речь, всякий, кто увидел свет в этой области, мог считать себя двойным гражданином – отчасти своего родного государства, которому прежде всего принадлежало попечение о нем, отчасти же всего общего отечества немецкой нации. Каждому было позволено искать для себя по всей территории этого отечества образование, которое было всех более

родственно его духу, или сферу деятельности, которая была бы наиболее ему сообразна, и талант не вращался, подобно дереву, в то место, где он находился, но ему было разрешено отыскать себе такое место. Кого направление его образования вынуждало ссориться с его ближайшим окружением, тот легко мог найти в другом месте людей, готовых принять его, найти новых друзей вместо утраченных, найти время и покой, чтобы объясниться обстоятельнее и, может быть, примирить с собою и склонить на свою сторону и своих разгневанных земляков, и таким образом объединить в своем лице весь народ. Ни одному князю немецкой земли еще никогда не удавалось заключить для своих подданных пределы отечества в границы тех рек или гор, среди которых он правил, и рассматривать их как вполне привязанных к этому клочку земли. Истина, которую нельзя было произнести вслух в одном городе, могла явиться вслух народа в другом, где, быть может, напротив, были запрещены те истины, которые были разрешены в первом городе; и так, при всей односторонности и мелочности, какие встречаем в отдельных немецких государствах, все же в Германии, взятой как целое, существовала самая обширная свобода исследования и слова, какую имел когда-нибудь какой-нибудь народ; и высшая образованность была и оставалась повсюду результатом взаимодействия граждан всех немецких государств; а постепенно эта высшая образованность и действительно снизошла в этом виде на большой народ, который тем самым непрестанно продолжал, в общем и целом, сам воспитывать себя самого. Этот существенный залог продолжения бытия немецкой нации не умаляла, как мы сказали, ни одна немецкая душа, стоявшая у руля государственного правления; и если даже, в том что касается прочих изначальных решений, не всегда происходило то, чего должна была желать высшая любовь к отечеству немцев, то по крайней мере никто не противодействовал прямо ее целям, никто не пытался похоронить эту любовь, искоренить ее и поставить на ее место любовь противоположную.

Но если теперь изначальное руководство как этой высшей образованностью, так и национальной властью, которую можно использовать единственно лишь для целей этой образованности и ее сохранения, употребление немецкого добра и немецкой крови попало бы из подчинения немецкой душе во власть кого-то другого, – что необходимо должно будет произойти в этом случае?

Именно здесь преимущественно потребуются от нас та склонность не позволять другим вводить себя в заблуждение о своих собственных делах, и та способность смело смотреть в лицо истине, которых мы требовали от Вас в нашей первой речи. Кроме того, насколько мне известно, нам все еще позволено говорить, или по крайней мере вздыхать, между собою по-немецки о своем немецком отечестве, и я думаю, мы поступили бы совсем нехорошо, если бы поспешили по собственному почину установить для себя подобный запрет, и пожелали сковать храбрость, которая, без сомнения, уже и прежде обдумывала про себя, не приняться ли ей за это рискованное дело, оковами робости отдельных людей.

Итак, рисуйте себе эту предполагаемую новую власть столь доброй и благожелательной, как Вам будет угодно, пусть она в Вашем представлении сравнится благостью с Богом; но сможете ли Вы сообщить ей и божественный разум? Может ли она всерьез хотеть счастья и благоденствия всех, будет ли высшее благоденствие, которое она способна постигнуть, благоденствием также и для немцев? И потому я надеюсь, что в том главном, что я сегодня излагал Вам, вы поняли меня вполне правильно, надеюсь, что многие, слыша мои слова,

думали и чувствовали, что я лишь выражаю со всей отчетливостью и высказываю в словах то, что давно уже смутно представлялось их душе; надеюсь, что и с остальными немцами, которые некогда прочитают это, дело будет обстоять точно так же. Многие немцы и прежде меня говорили приблизительно то же самое; и в основе их то и дело выражавшегося противления сугубо механическому устройству и расчету государства лежало то же смутно сознаваемое настроение. И вот я призываю всех, кто знаком с новейшей заграничной литературой, указать мне, кто из новейших мудрецов, поэтов, законодателей заграницы обнаружил когда бы то ни было подобное этому предчувствие, в котором бы род человеческий рассматривался как вечно идущий вперед и все его проявления во времени соотносились бы лишь с этим его движением вперед; указать мне, требовал ли кто-нибудь из них от государства большего, чем только равенства (nicht Ungleichheit), гражданского мира, внешней славы нации и, самое большее, счастья в кругу семьи, – даже в ту пору, когда они смелее всего воспарили к политическому творчеству? Если же, как нам приходится заключить по всем этим признакам, это и есть для них самое высшее, то они не вменяют и нам никаких более высоких потребностей и больших требований от жизни, и, – даже если предположить, что они могут действительно относиться к нам как подлинные наши благодетели и что у них при этом может не быть на уме никакой корысти и никакой жажды быть чем-то большим, нежели мы, – они решат, что превосходно о нас позаботились, если мы найдем все то, что они только и признают стоящим желанья. Но тогда то, ради чего единственно может жить благороднейший человек среди нас, окажется искоренено из публичной жизни, и народ, который всегда обнаруживал свою восприимчивость к побуждениям благородства, и который, в его большинстве, можно было бы даже надеяться возвысить весь до этого благородства, как только с ним станут поступать так же, как эти мудрецы желают, чтобы поступали с ними, будет понижен в чине, лишен достоинства, совершенно истреблен из строя вещей, слившись с народом низшего рода.

В ком же, несмотря на это, остаются живы и могучи эти высшие требования от жизни, вместе с чувством их божественной правоты, тот с глубоким негодованием почувствует, что он вновь отброшен в те первые времена христианства, которым было сказано: «Не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду»³⁴. И последнее вполне справедливо, ибо пока он видит на тебе верхнюю одежду, он будет искать повода придрататься к тебе, чтобы забрать у тебя и эту одежду, и только когда ты останешься совершенно нагим, он перестанет так пристально приглядываться к тебе и оставит тебя в покое. Именно его высшее понимание, которое делает ему честь, превращает для него землю в сущий ад, и она становится ему противна. Он хотел бы лучше вовсе не родиться на свет; он хотел бы, чтобы глаза его закрылись навеки; глубокой печалью отмечены дни его до самой могилы; тому, что для него мило, он не мог бы пожелать лучшей доли, чем тупость и довольство ума, чтобы ему не так больно было идти к вечной жизни за гробом.

Воспрепятствовать этому уничтожению всякого благородного движения души, какое могло бы обнаружиться среди нас даже и в будущем, и этому унижению всей нашей нации, – воспрепятствовать ему единственным средством, какое еще остается у нас после того, как мы понапрасну использовали все прочие, – предлагают Вам эти речи. Они предлагают Вам глубоко и неистребимо утвердить с помощью воспитания в душах всех людей ту истинную и всемогущую любовь к отечеству, для которой наш народ есть народ вечный и залог нашей

собственной вечности. Какое воспитание способно это сделать, и каким именно образом, мы увидим в следующих речах.

Версия #1

Зверобой создал 13 апреля 2025 13:22:47

Зверобой обновил 13 апреля 2025 13:23:16